

Леонид Андреев

Иностранец



Леонид Николаевич Андреев

Иностранец

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=255752

Аннотация

«С одиннадцати часов утра вплоть до восьми вечера студент Чистяков ходил по урокам и только раз в неделю, по средам, когда занятия с учениками начинались у него позже, заглядывал на минутку в университет, чтобы отметить у педеля. На лекции он никогда не заходил и не знал даже, где расположены аудитории для юристов второго курса, так как очень не любил профессоров и ближайшей весной собирался навсегда уехать за границу – жить и учиться там. Для этой именно цели он набрал столько работы и копил деньги, а по вечерам, возвратившись с уроков, занимался немецким языком...»

Содержание

I	4
II	16

Леонид Андреев

Иностранец

I

С одиннадцати часов утра вплоть до восьми вечера студент Чистяков ходил по урокам и только раз в неделю, по средам, когда занятия с учениками начались у него позже, заглядывал на минутку в университет, чтобы отметить у педеля. На лекции он никогда не заходил и не знал даже, где расположены аудитории для юристов второго курса, так как очень не любил профессоров и ближайшей весной собирался навсегда уехать за границу – жить и учиться там. Для этой именно цели он набрал столько работы и копил деньги, а по вечерам, возвратившись с уроков, занимался немецким языком. Поселиться он решил в Германии, в Берлине; там уже с год жил его старый приятель и писал оттуда длинные и восторженные письма. И в каждом письме настойчиво звал его.

Но случалось по вечерам, что в голове у Чистякова что-то шумело, как вода, падающая с мельничного колеса; перед утомленными глазами мелькали неприятные лица учеников, и сильно болел левый бок. Тогда

заниматься нельзя было, и он или ложился в постель, считал накопленные деньги и мечтал о своей жизни в Берлине, или шел вниз, в шестьдесят четвертый номер, где вечерами собирались обыкновенно студенты со всего «Северного полюса», – так назывались номера, в которых он жил. Он не любил собиравшихся там студентов, как не любил всего, что его окружало: не любил улиц, по которым ходил, не любил комнаты, в которой жил, не любил всей неустроенной, хаотичной, варварски грубой и бессмысленной жизни. Даже хуже варваров казались ему люди, которых он видел всюду, на улицах и в домах: варвары были смелы, а эти только не уважали ни себя, ни других, и часто вырастал между ними страшный призрак тупого насилия и бессмысленной жестокости. Но сознание, что скоро он уйдет от них навсегда, увидит других, хороших людей, заживет настоящей, устроенною и доброю жизнью, примиряло его с остающимися людьми и вызывало странную грусть и тихое сожаление. И когда он приходил к ним, высокий, с узкою и больной грудью, с бескровным лицом постника и лихорадочно блестящими глазами, его тихое «здравствуйте!» звучало как печальное «прощайте!».

А внизу, в шестьдесят четвертом номере, всегда было так весело, беззаботно и шумно. Оттого, что в номере много пили водки и курили, много пели и кри-

чали, спали на полу и на диванах, воздух в нем был сизый, тяжелый, сильно пахло спиртом и селедкой, и всегда царил беспорядок, такой прочный и непобедимый, что Чистякову он иногда казался особенным порядком. И хозяйева комнаты, Ванька Костюрин и Панов, были похожи на свою комнату: беспорядочные и прочно утвердившиеся в своем беспорядке, по утрам вместо чая они пили водку или пиво, ночью бодрствовали, а днем спали.

Имущества у них было очень мало, но на окнах всегда стоял ряд порожних бутылок, по росту, начиная от четверти и кончая соткой, а на стене висели бубен и треугольник, и лежала хорошая гармония. С тех пор как один из товарищей по номерам, серб Райко Вукич, однажды ночью прошелся с бубном по коридору и страшно напугал всех жильцов, подумавших про пожар, каждый вечер в одиннадцать часов приходил коридорный Сергей и отбирал бубен до утра. А утром приносил его вместе с парюю пива, и длинноусый Ванька Костюрин, по утрам очень мрачный, исполнял на бубне короткую песнь – тоже почему-то очень мрачную. А потом звонкой и веселой трелью рассыпалась гармония – и начинался бестолковый и непонятный Чистякову день.

Когда вечером в шестьдесят четвертый номер приходил Чистяков, узкогрудый, болезненный, неся на

себе следы трудового дня и строго определенной жизненной цели, компания встречала его с легкой насмешкой и недоброжелательством.

– Иностранец ползет! – возвещал Ванька Костюрин.

И студенты смеялись, так как всем своим лицом, длинными волосами, синей рубашкой, выглядывавшей из-под тужурки, Чистяков менее всего походил на иностранца. Да и говор у него был самый великорусский: мягкий, округлый и задумчивый.

Не любили его студенты за то, что он был совершенно равнодушен к их жизни, не понимал ее радостей и похож был на человека, который сидит на вокзале в ожидании поезда, курит, разговаривает, иногда даже как будто увлекается, а сам не сводит глаз с часов. О себе он ничего не рассказывал, и никто не знал, почему в двадцать девять лет он только на втором курсе, но зато много и подробно говорил он о загранице и тамошней жизни. И всем, кого видел в первый раз, сообщал с тихим восторгом где-то и когда-то услышанную им новость: что в Христиании, на самой лучшей площади, народ воздвиг два прекрасных памятника: Бьернсону и Ибсену, еще при жизни последних, и когда Бьернсон и Ибсен проходят по площади, они видят свое изображение отлитым из вечного чугуна и бронзы и так радуются любви народа, что оба плачут. И, рассказывая это, Чистяков глядел в сторо-

ну, и веки его наливались слезами и краснели.

Охотно рассказывал он и о том, сколько скоплено у него денег для заграницы – двести двадцать рублей, и однажды он даже надоел всем студентам с жалобой на то, как гнусно поступили с ним на одном уроке, обсчитав его на одиннадцать рублей. Так, взяли и спокойно обсчитали, а когда он стал требовать, то сперва посмеялись, а потом выгнали.

– Ведь это кровные деньги! – говорил он с гневом и тоскою. – Ведь, может, они мне двух лет жизни стоят!

– Ну, не ной, надоел! – сказал ему Ванька Костюрин. – Хочешь мы тебе эти одиннадцать целковых соберем промеж себя?

Он предложил это от чистого сердца и был очень удивлен и обижен, когда Чистяков с негодованием отклонил предложение.

– Не товарищ ты! – сказал Костюрин с упреком, и все согласились с ним, что Чистяков не товарищ.

Это видно было и по тому, с каким презрительным равнодушием относился он ко всем студенческим интересам: что бы важное ни случилось, как бы ни горячился народ в шестьдесят четвертом номере, он молчал, рассеянно барабанил пальцами по столу и, если дебаты затягивались, начинал зевать и уходил заниматься немецким языком.

– Я не здешний! – говорил он с шутливым извинени-

ем, но в шутке его была страшная и почему-то очень обидная правда. И было неприятно чувствовать, что они совсем не знают этого узкогрудого человека, который так прямо идет к своей цели и не хочет сказать, откуда взялось в его больной груди столько силы и решимости.

И особенно не любил его Ванька Костюрин; сам он носил высокие сапоги, а летом в деревне поддевку, уважал все русское, водку, квас, жирные щи и мужиков, и старался говорить грубым голосом и по-простонародному: вместо «кажется» говорил «кажись» и часто употреблял слово «давеча». И он не понимал упорного стремления Чистякова за границу и причислял его почему-то к той же категории явлений, как белые перчатки, постоянная трезвость, визиты и модные сапоги; и два другие названия, данные им Чистякову, были такие: «аристократ» и «собачья старость». Остальные были равнодушны ко всему русскому, охотно бранили его и говорили Чистякову, что и сами поехали бы учиться и жить за границей, если были бы деньги. А он уговаривал их, доказывал, что денег всегда можно достать, волновался, но потом вглядывался в их добродушные полупьяные рожи, вспоминал всю их ленивую, распущенную жизнь – и равнодушно умолкал. Где-нибудь в углу на смятой постели он усаживался и смотрел оттуда блестящими

и далекими глазами, такой бледный, узкогрудый и решительный.

А остальные весело и беззаботно жили со всею беспечностью молодости и здоровья, как будто не было у них ни вчерашнего, ни завтрашнего дня, ни проклятых вопросов, которые несет с собою проклятая действительность. Широкоплечий, волосатый, толстошей Толкачев, с маленькими и тупыми глазками, показывал силу своих мышц, подымал гири и заставлял всех смотреть на себя и восхищаться: он был членом гимнастического общества, признавал одну только силу и открыто презирал университет, студентов, науку и всякие вопросы. И многие его ненавидели, но боялись его чудовищной силы, его грубости, которая ни перед чем не останавливается, и даже за глаза не решались говорить о нем дурно. И когда кто-нибудь, выведенный из терпения, начинал спорить с ним, то всегда начинал спор словами:

– Конечно, всякий свободен в своих убеждениях, но ты, Костя, едва ли прав...

А он не понимал этой деликатности и спокойно обрывал спор:

– Ну, стоит с вами, с дураками, разговаривать. Будь моя воля, я каждый бы день всех вас на конюшне драл.

И все делали вид, что он шутит, и смеялись. Хозя-

ин Панов крошил лук для селедки и плакал; серб Райко Вукич, низенький, сухой, жилистый, горбоносый, с острым раздвоенным подбородком, по которому выступала колючая щетина, и с обвисшими усами, глядел на водку, молчал и ждал, когда нальют. Этот Райко был чудак. Трезвый он молчал, а когда выпивал немного водки, то начинал смешным и ломаным языком горячо и упорно рассказывать про Сербию – какие-то мелкие и неинтересные вещи: о партиях, о радикалах и турках, о каком-то скверном и ужасном человеке Бодемличе и еще о чем-то. И он так расхваливал маленькую и плохонькую Сербию, что все умирали со смеху и нарочно дразнили его.

– Господи! – удивлялся Ванька Костюрин. – Говорит про Сербию, а она вся-то с эту селедку. Возьмет ее турок да и проглотит.

– Подавится! – возражал Райко, щетинясь усами, подбородком, острыми глазками, всей своей колючей и жилистой фигуркой.

– И выплюнет: экая дрянь, скажет!

Райко вспыхивал, окидывал гневным взглядом собравшихся и свирепо бросал:

– Осли!

И уходил в свой номер. Товарищи хохотали, а Чистяков, печально улыбаясь, думал, какая это действительно маленькая и грустная страна задорных и сла-

беньких людей, постоянной неурядицы, чего-то мелкого и жалкого, как игра детей в солдаты. И ему было жаль маленького Райко и хотелось взять его за границу, чтобы он увидел там настоящую, широкую и умную жизнь.

Когда бутылки наполовину пустели, студенты начинали петь, играть на гармонии и кого-нибудь посылали за Райко, который считался специалистом по бубну. Райко являлся и мрачно бубнил, а глаза его горели, словно у волка, и были остры, как жало осы. Если становилось очень весело и разгоряченная кровь ходуном начинала ходить по жилам, Ванька Костюрин вскакивал, подергивал плечами и плясал русскую. Громоздкий и неуклюжий, в пляске он был легок и перышком носился по комнате: выбивал каблучками частую дробь, взвизгивал, гикал, и вся комната точно вертелась и дрожала от стука, залиvistых звуков гармонии и захлебывающегося рычания бубна. И у всех смотревших сверкали глаза, подергивались руки и ноги, и кто-нибудь отходил в угол, с безнадежным восторгом махал рукою и откуда-то из глубины выдыхал томительное и сладкое: э-э-х! И все они казались Чистякову похожими на сумасшедших.

Кончив пляску и тяжело отдуваясь, Ванька Костюрин просил Райко:

– А ну, Райко, покажи, как у вас пляшут. Небось так

не умеют.

– Так не умеют, а лучше умеют.

– Да ты покажи, не бойся! Я знаю, у вас хорошо пляшут.

Все уговаривали, и Райко, пугливо и злобно озираясь, откладывал бубен. Потом лицо его становилось свирепым и кровожадным, и он делал несколько странных, порывистых и колючих движений – как будто не плясать он собирался, а душить, царапать и убивать. Без музыки, серьезный, немного страшный, он так похож был на маленького дикаря, что все разражались хохотом, а Райко опять обиженно ругался и уходил.

«Как они грубы!» – думал Чистяков, и ему было жаль маленького Райко, так сильно любившего свою маленькую родину.

Бывал в шестьдесят четвертом номере студент Каруев, всегда ровный, всегда веселый и слегка высокомерный. При нем все несколько менялось: пелись только хорошие песни, никто не дразнил Райко, и силач Толкачев, не знавший границ ни в наглости, ни в раболепстве, услужливо помогал ему надевать пальто. А Каруев иногда умышленно забывал поздороваться с ним и заставлял его делать фокусы, как ученую собаку:

– Ну-ка ты, мясо, подними-ка стол за ножку!

Толкачев самодовольно поднимал.

– А ну-ка согни двугривенный.

Толкачев сгибал и стыдливо говорил:

– А папаша у меня мог кочергу в бантик завязать.

Но Каруев уже не слушал его и шел разговаривать к одиноко сидевшему Чистякову. С ним он был всегда серьезен и жалеюще-внимателен, как доктор, и когда разговаривал, то близко и ласково заглядывал ему в глаза. А Чистяков тоже жалел его и постоянно звал с собою за границу.

– Ну как, едете? – спрашивал Каруев.

– Двести двадцать собрал. Еще сто восемьдесят не хватает. А вы? – улыбался Чистяков.

– А я нет. Тяжело вам там будет, голубчик. Здоровье-то ваше...

– Там климат хороший.

– Так-то оно так, а все же лучше бы в Крым...

Бледное лицо Чистякова стало еще бледнее, и веки напряженно покраснели. Дрожа от боли и ужаса, точно у него от сердца отдирали его за границу, он с тоскою и отчаянием прошептал:

– Я умру здесь. Умру. Господи! Там люди, там жизнь, а тут... – Он безнадежно махнул рукою.

– Ну-ну! – успокаивал его Каруев. – И поезжайте с Богом, если так хочется.

– Там, вы знаете, – умиленно шептал Чистяков, –

там в Христиании Бьернсену заживо памятник поставили. И Ибсену. И они каждый день... мимо ходят и видят это. Господи! Хоть бы только коснуться той благородной земли, хоть бы только раз вздохнуть тем воздухом!.. Грудь у меня слабая, чахотка, говорят, может быть. Умереть бы там.

Каруев ласково погладил его по колену.

– Не умрете. Нас еще переживете! А должно быть, жизнь-то порядочно вас поломала. Ишь нервы.

– Нервы! – улыбнулся Чистяков. – Не нервы, а вот, – он ткнул себя в грудь, – вот где сидит у меня ваша жизнь!

И начал рассказывать, как дешево все за границей, а люди только дороги. Не так, как у нас: все дорого, а люди дешевы.

II

На вторую половину года жить Чистякову стало труднее. Силы у него убавилось, чаще болел левый бок, и на уроках он легко раздражался, а ученики были тупые, дерзкие и ленивые. И среди студентов в шестьдесят четвертом номере стало хуже. Там произошла история, которую все скоро позабыли, а Чистяков забыть не мог, так больно она поразила его. Это было еще в ноябре: силач Толкачев ударил Ваньку Костюрина по лицу, за что-то поссорившись с ним. Был поздний вечер, они стояли толпою на дворе, все были сильно пьяны и смутно понимали, что происходит.

– За что ты меня? – крикнул Костюрин.

– А вот за что! – сказал Толкачев и еще раз ударил так, что Костюрин перегнулся надвое, едва устоял на ногах, и на зубах его показалась кровь.

Все хмурились, кричали, но никто не решался вступить, и только Чистяков с истерическим вскриком бросился на огромного Толкачева и неловко ударил его, ушибив себе большой палец. Потом что-то тяжелое, как пудовая гиря, обрушилось на его голову, он упал, а когда поднялся, все стояли кружком и насакивали на Толкачева, но не били его, а только кричали.

Но все же он немного струсил и оправдывался, сваливая всю вину на Костюрина; последний выплевывал на снег черную слюну и говорил:

– Братцы, разве так можно!

И через десять минут их помирили. Они протянули руки и поцеловались, а Чистяков всплеснул руками и заплакал от боли, от скорби и гнева.

– Господи! Его бьют, а он целуется. Ведь это подлость!

– А тебе что? – через плечо спросил Толкачев. – Хочешь, через крышу перекину?

– Иностранец! – презрительно сказал Костюрин, и все, галдя и смеясь, тронулись к воротам, а Чистяков пошел в свой номер, лег и долго плакал в темноте. Насилие, несправедливость, как туча, стояли над ним, и далеким, недоступным раем казались ему чудные и светлые края. «Хоть бы умереть там!» – думал он, смертельно тоскуя.

На другой день Костюрину стало совестно, и он первый раз за все время знакомства пришел в номер к Чистякову, долго и смущенно оглядывался и хвалил комнату.

– Как тут у тебя чудно! Словно у монашенки! – говорил он, а потом сразу заплакал, и по длинным, перекосившимся усам его катились большие светлые слезы и капали на красное сукно номерного грязного стола.

А через неделю все забылось, и Толкачев опять показывал силу своих мускулов и заставлял восхищаться ими, но теперь Чистяков не мог без ужаса смотреть на его красную толстую шею и огромный кулак и чувствовал себя в его присутствии таким беззащитным и слабым, как цыпленок перед ястребом. Грубая и тупая сила грозно стояла перед ним, и ни в чем не было защиты. Все-таки он перестал подавать Толкачеву руку, но тот встретил это презрительным и искренним хохотом и часто заговаривал с ним:

– Ну, иностранец! Скоро тебя черти унесут за границу? Поскорее, а то соберусь как-нибудь и ребра тебе пощупаю.

Чистякову было страшно; он молчал и думал: «Не понимает даже, что неприлично разговаривать с человеком, который не подает руки». А Толкачев хохотал:

– Не бойся: я ведь шучу. На что ты мне нужен, собачья старость!

И все облегченно вздыхали, так как боялись, что Толкачев и вправду побьет его, и иногда уговаривали Чистякова помириться.

– Ведь он хороший малый, – говорили они полуискренно, так как и за глаза не решались говорить о Толкачеве правду и не решались думать ее. И только один Каруев одобрил Чистякова и почти перестал бы-

вать в шестьдесят четвертом номере.

Денег было скоплено двести девяносто рублей, и была надежда, что к весне, к апрелю месяцу, Чистяков соберет все четыреста. У него было бы больше, но на одном уроке у купца опять недодали десяти рублей, хотя обещались заплатить, а кроме того, пятнадцать рублей он дал Райко, который почти ничего не получал из дому и содержался на деньги товарищей: за его долю в квартире плату вносил Ванька Костюрин. С деньгами в кармане Чистяков стал спокойнее и увереннее. По целым вечерам он просиживал у себя в номере, мечтая о том, как хорошо он будет жить за границей, и уже начал укладывать некоторые мелкие вещи. И когда укладывал, сердце его наполняла тихая, прозрачная и чистая, как ключевая вода, печаль — о чем-то далеком, неизведанном и милом, и постоянно казалось, что он что-то забывает захватить с собою, что-то очень важное и дорогое, без чего ему предстоит много неприятностей.

К товарищам он стал относиться мягче, не сердился на них и только жалел. Жалел, что они остаются с ужасным Толкачевым; жалел, что они так пьют и вся их жизнь будет тусклая, тоскливая, как у других, и ничего не удастся им из того хорошего, о чем они иногда мечтают. Странная, неустроенная, кошмарная жизнь, похожая на дикий сон, пожрет их, как сожрала тысячи

других, и тщетны будут их попытки устроить другую, лучшую жизнь. И особенно жаль ему было энергичного и смелого Каруева, который бьется головой о стену и последнее время сделался очень мрачен и неровен.

– Поедьте! – уговаривал Чистяков.

– Куда? – не понимал Каруев.

– Да за границу.

Каруев раздраженно ответил:

– А я думал что́! – но потом спохватился и вежливо добавил: – Конечно, поезжайте. Чего ж вам тут сидеть? Полечитесь там, нервы подвинтите.

– Я лето хочу в Швейцарии прожить.

– Вот, вот! На что лучше, – похвалил Каруев и вежливо, как с малознакомым, простился с Чистяковым. Он тоже куда-то на время уезжал.

В середине марта один из хозяев шестьдесят четвертого номера, Панов, праздновал свои именины и позвал Чистякова. Ездили уже на колесах, и когда Чистяков вышел с последнего урока, на него пахнуло отрадной свежестью и первым весенним теплом. «Скоро!» – подумал он, и сердце его трепыхнулось, как птица, и выросло в душе что-то печальное и больное, как у всех уезжающих надолго, навсегда, – и потонуло в волне широкой радости и торжества. Ночное небо над городом было черное, и по небу таинственно неслись огромные белые хлопья облаков, как гигантские

белые птицы. В одну сторону неслись они, и был в их быстром и молчаливом полете могучий призыв к такому же вольному и счастливому полету. «Скоро! Скоро!» – думал Чистяков.

Народ уже давно собрался, когда он пришел в номера; было уже выпито водки и чаю, и все собирались петь. Чистяков устало уселся в углу, на сложенных кучей пальто, и с дружелюбной грустью смотрел на собравшихся: всего только через месяц он уезжал надолго – навсегда. Спели хором две студенческие песни, а потом выделились трое; консерваторка Михайлова, у которой было хорошее сопрано, сам именинник, певший сильным и красивым басом, и еще один белокурый студент, тенор. Тишина наступила, и бас одиноко и медленно запел, и Чистяков вздрогнул: так неожиданно хороша была песня:

Покой-ной но-о-чи всем уста-а-вшим...

Торжественным покоем, великой грустью и любовью были проникнуты величавые, могуче-сдержанные звуки: кто-то большой и темный, как сама ночь, кто-то всевидящий и оттого жалеющий и бесконечно печальный тихо окутывал землю своим мягким покровом, и до крайних пределов ее должен был дойти его мощный и сдержанный голос. «Боже мой, ведь это о

нас, о нас!» – подумал Чистяков и весь потянулся к певцам.

И когда замер последний звук, вступил звонкий тенор и повторил – как будто отозвалась земля на жалующие и ласковые слова, и мольбою дышала ее молитвенная речь:

Покой-ной но-о-чи всем уста-а-вшим...

И с той же величавой грустью и покоем лился в пространстве томный, мужественный бас:

Весь день свой отдыха не зна-а-вшим...

Что-то сверкающее и драгоценное, как слезы, упало с высокого неба и пронизало тьму широкого густого баса и нежным горячим стоном смешалось с воплями земли:

Трудом купившим сво-ой по-о-кой!..

«Боже мой, боже мой! Ведь это она поет! – подумал Чистяков, вглядываясь в побледневшее лицо девушки. – О, милая, ведь это о нас, о нас!»

И все трое, смешав голоса, пронизывая ими друг друга, слившись в одну величавую, скорбную гармонию, повторили:

Покойной ночи всем уставшим,
Весь день свой отдыха не знавшим,
Трудом купившим свой по-о-кой!

Потом пелись другие грустные песни, но Чистяков не слышал их, и все в нем трепетало от бесконечной жалости к себе, который весь день без усталости трудился, к кому-то безличному, большому, нуждавшемуся в покое, любви и тихом отдыхе.

Привел его в себя веселый и шумный разговор во-круг Райко Вукича. Его опять дразнили, а он, сверх обыкновения, молчал, и только острые, как жало осы, глазки перебегали с одного на другого и двигался щетиновый раздвоенный подбородок.

– А что, Райко, – спрашивал Ванька Костюрин, – у вас у всех там носы крючком, как у тебя?

Райко медленно ответил:

– На днях серба одного, Боиовича, на границе зарезали. Турци зарезали.

И всем ясно представился зарезанный серб, какой-то Боиович, у которого мертвецки-желтый и крючковатый нос, как у Райко, и на горле широкая черная рана. Было неприятно, и Костюрин с деланым смехом сказал:

– Эка важность! Много еще осталось.

Райко ощетинился, побледнел, и колючки на его

раздвоенном подбородке задрожали. И когда он заговорил, голос у него был металлический и резкий.

– Ты обманщик. Зачем ты пляшешь русского? У тебя нет родины, нет дома! Ты свинья.

Но ответил Чистяков, точно упрек касался его. Глухо и спокойно он сказал:

– А ты, Райко, любишь Сербию?

– Ну да, люблю.

.....
– А!

Все молчали – и, схватив круглый столовый нож, потрясая им в воздухе, Райко дико закричал:

– Убью! Ой, какой я злой! Как у меня болит сердце! Ой, как болит!..

Он с силою пустил нож в стену, и нож ударился плашмя и со звоном отскочил. Райко, не глядя, вышел.

Через полчаса за ним отправился Чистяков; ему было жаль маленького Райко, так сильно любившего свою маленькую, смертельно обидевшую его родину. Когда он еще шел по длинному, полутемному коридору, теряясь среди одинаковых, похожих одна на другую дверей, уха его коснулись какие-то странные звуки, похожие на вой или крик о помощи. На другой двери была надпись мелом: «Райко Вукич», и оттуда шли эти странные и теперь громкие звуки. На стук Чистя-

кова ответа не было, и он вошел, смутно различая на светлом фоне окна маленькую острую фигурку Райко: он сидел на подоконнике, в темноте, и пел необыкновенно высоким гортанным голосом.

– Райко! – тихо окликнул его Чистяков.

Но Райко не слышал. Он не слышал, как хлопнула дверь, он не слышал шагов Чистякова и его голоса; он глядел на высокую кирпичную стену с черной полосой дымной копоти и пел. О далекой родине он пел; о ее глухих страданиях, о слезах осиротевших матерей и жен; он молил ее, далекую родину, взять его, маленького Райко, и схоронить у себя и дать ему счастье поцеловать перед смертью ту землю, на которой он родился; о жестокой мести врагам он пел; о любви и сострадании к побежденным братьям, о сербе Боювиче, у которого на горле широкая черная рана, о том, как болит сердце у него, маленького Райко, разлученного с матерью-родиной, несчастной, страдающей родиной.

Чистяков не понимал слов, но он слышал звуки, и дикие, грубые, стихийные, как стон самой земли, похожие скорее на вой заброшенного одинокого пса, чем на человеческую песню, – они дышали такой безысходной тоскою и жгучей ненавистью, что не нужно было слов, чтобы видеть окровавленное сердце певца.

На высокой, гневно-пронзительной ноте замер голос Райко, и так долго сидели они и молчали. Потом Чистяков подошел ближе и увидел сухие и злобные, горящие, как у волка, глаза.

– Райко! – сказал он. – Ты давно не был на родине, съезди туда, я дам тебе денег. У меня есть лишние.

– Там дом есть, – задумчиво сказал Райко.

– Какой дом?

– Так. Дом такой стоит. Разве ты не знаешь, какой бывает дом? Обыкновенный. И когда мимо него идет арба, она скрипит: уай, уай.

– Возьми денег, Райко.

– Не мешай мне, – сказал Райко. – Не мешай, пожалуйста. Ступай к своим, а я буду одним. У меня очень болит сердце.

Но Чистяков не пошел к своим; он отправился в свой номер, сел на подоконник, как Райко, и стал смотреть на небо, на котором он прочел сегодня что-то хорошее. Все так же таинственно и молчаливо неслись гигантские белые птицы, и между ними чернело провалами бездонное небо, но чужд и холоден был теперь этот счастливый полет, и ничего не говорил он задумавшемуся человеку.

«Вот и я полечу!» – думал Чистяков, стараясь припомнить недавнее ощущение свободы и легкости, но другое смутное и властное чувство выросло в его

груди, и билось, и трепетало, как запертая птица. И он понял, что это: ему страстно хотелось петь, как Райко, и тоже петь о родине. И он обрадовался, что понял, улыбнулся и совсем ясно ощутил запертые в его груди звуки, мольбы и горячие, звучные слезы. Он открыл рот, – но стало неловко, что кто-нибудь может взойти и застать его поющим, и он запер дверь двойным поворотом ключа. И назад, к окну, он шел почему-то на цыпочках.

– Ну! – сказал он себе и запел что-то без слов – и так жидок, так подло-нерешителен был пронесшийся и в жалких корчах умерший звук, что Чистякову стало страшно. «Нужно слова, без слов нельзя», – торопливо оправдывался он и начал искать слова; и множество слов замелькало в его мозгу, но среди них не было ни одного рожденного любовью к родине. Всю свою память, все свое воображение напрягал он, искал в прошлом, искал в книгах, которые прочел, – и много было звучных и красивых слов, но не было ни одного, с каким страдающий сын мог бы обратиться к своей матери-родине. Он чувствовал его близко, он почти видел это слово и знал, чем оно отличается от других: все другие слова плоски и бедны, как нищие на паперти, а это облито кровью и слезами, как раскаленный уголь, и светло, как небесный огонь, – и не мог найти его. И таким пустым и бедным почувство-

вал он себя, как последний нищий, самый последний нищий, у которого душа черства, как брошенное ему подаяние.

– Боже мой! боже мой! – шептал он в ужасе. – Да как же это? Ведь я хороший человек! Я хороший человек!

И он подумал, что скорее найдет то, что нужно, если станет писать. Ломая спички дрожащими руками, он зажег свечу, яростно сбросил со стола немецкий учебник и задумался над листом белой бумаги. И нерешительно, запинаясь, рука его вывела:

«Родина».

И остановилась. И более твердо повторила:

«Родина!»

И быстро, большими буквами он закончил:

«Прости меня!»

Чистяков взглянул на написанное и упал лицом вниз на бумагу и заплакал от жалости к родине, к себе, ко всем трудившимся и не знавшим отдыха. И ему страшно стало, что он мог уехать надолго, навсегда, и умереть там, в чужих краях, и угасающим слухом ловить чужую и чуждую речь. И понял он, что не может он жить без родины и не может быть счастлив, пока несчастна она, и в этом чувстве была могучая радость и могучая, стихийная, тысячеголосая скорбь. Она разбила оковы, в которых томилась его душа; она слила ее с душой неведомого многоликого страдаю-

щего брата – и словно тысяча огненных сердец колыхнулась в его больной, измученной груди. И в горячих слезах он сказал:

– Возьми меня, родина!

А внизу опять запел Райко, и дико свободны и смелы были гневно тоскующие звуки его песни.

Сентябрь 1901 г.